

М.М. Дунаев

«Дама с собачкой»

В рассказе «Дама с собачкой» (1899) герои переступают черту, которой утрастились их предшественники из рассказа «О любви». Автор даже намеренно опошляет ситуацию, ибо начинает рассказ с банального курортного романа, который благополучно завершается расставанием случайных любовников.

В рассказе «Огни» писатель уже изображал подобную интрижку, завершившуюся раскаянием героя, вымаливанием прощения у соблазненной женщины и благополучным же расставанием примирившихся со своим положением героев. В «Даме с собачкой» ситуация переходит в парадоксальное продолжение: в зарождение подлинной любви между двумя одинокими существами. Много раз отмечалась неслучайность сходства имён главных героинь «Дамы с собачкой» и «Анны Карениной» — намеренно или нет, Чехов коснулся той же проблемы, но по-иному, без осуждения (столь явного у Толстого), а скорее с недоумением, с мучительным незнанием выхода из создавшегося положения.

Это дало Толстому повод и возможность строго осудить рассказ Чехова, отметив в записной книжке: «Читал “Даму с собачкой”. Это по сю сторону добра, т.е. не дошло ещё до человека». И тогда же (в январе 1900) записавши в Дневнике: «Читал “Даму с собачкой” Чехова. Это всё Ницше. Люди не выработавшие себе ясного мирозерцания, разделяющего добро и зло. Прежде робели, искали; теперь же, думая, что они по ту сторону добра и зла, остаются по сю сторону, т.е. почти животные». С такую категоричностью согласиться вряд ли возможно.

Чеховские Анна Сергеевна и Гуров — не «почти животные», но безнадежно одинокие люди. Символом того в жизни героини становится долгий забор, определяющий пространство, на которое открывается вид из окон дома Анна Сергеевны:

«Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

“От такого забора убежишь”, — думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор».

Современные психологи называют такое отупляющее однообразие — гомогенным полем, долгое созерцание которого способно ввести человека в состояние глубокой депрессии.

Одиночество Гурова автор передаёт иным образом: встречною репликой, на которую тот больно наталкивается, пытаясь хоть в малой доле поделиться хоть с кем-то своим переживанием:

«Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнёром, чиновником, он не удержался и сказал:

— Если бы вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

— Дмитрий Дмитрич!

— Что?

— А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унижительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры всё об одном. Ненужные дела и разговоры всё об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остаётся какая-то куца, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах».

Эта «осетрина с душком» поистине поразительна: так передать абсолютное нечувствие к состоянию человека мог только Чехов. Вот где всё та же палата № 6.

Любовь Гурова и Анны Сергеевны — их бегство от одиночества. И теперь автор сознаёт, что она не может стать подлинным исходом из безнадежного состояния одиночества, но ввергает в ещё большую безысходность. Чехов прибегает к принципу *non finito*, завершает всё открытым финалом:

«И казалось, что ещё немного — и решение будет найдено, и тогда начнётся новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца ещё далеко-далеко и что самое сложное и трудное только ещё начинается».

Сам автор как будто отказывается решить обозначенную проблему. Но Чехов даёт понять намёком, что эта проблема есть лишь частное проявление некоего незримого хода событий, возносящегося над мимолётностью времени.

Внешне — в «Даме с собачкой» решается вопрос о человеческом счастье. То есть центральный вопрос эвдемонической культуры. Достижимо или не достижимо счастье, и при каких условиях возможно? Время при этом всегда воспринималось как некое препятствие абсолютному счастью: течение времени безнадежно отбрасывает счастливые мгновения в прошлое. Чехов парадоксально утверждает иное постижение хода времени. Сидя над шумным морем, Гуров и Анна Сергеевна проникаются ощущением не времени, но вечности, осуществляемой в земной жизни как бесконечность времени:

«Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда ещё тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства».

Такое восприятие позволяет перенести события рассказа с крупного плана на общий, сознать их как единомоментное составляющее общего хода времени, ничего не решающее отдельно и самостоятельно, но лишь необходимо включённое в сменяющуюся череду судеб человеческих. И если в отдельном событии замкнута безнадежность, то в общем ходе равнодушного ко всему времени скрыта возможность одоления её, одоления апостасийной деградации жизни.

Есть соблазн осмысления этого образа как некоей тяги к безликости потока дурной бесконечности времени — если бы не следующее за тем рассуждение Гурова:

«...Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своём человеческом достоинстве».

Смысл общего хода времени постигается только через сознавание в себе человеческого достоинства, то есть образа и подобия Божия в себе, — вне же этого все вопросы останутся открытыми, как открыты они в намеренной незавершённости рассказа.

Эта незавершённость, бесконечность времени — и пугает одновременно. Пугает как бездна, в которую страшно упасть, ибо она станет равнозначною бесконечному падению, бесконечной адской муке. Тут можно вспомнить inferнальный образ вечности как тёмной закоптелой избы с пауками, порождённый порочным сознанием Свидригайлова. В такой муке избавление только в одном — в кончаемости её.

«Смерть страшна, — помещает Чехов в записной книжке парадоксальное признание, — но ещё страшнее было бы сознание, что будешь жить вечно и никогда не умрёшь».

И ведь недаром он делает эту запись вслед за одной из важнейших для понимания мирозерцания его:

«Вера есть способность духа. У животных её нет, у дикарей и неразвитых людей — страх и сомнения. Она доступна только высшим организациям».

Значит: вера побеждает страх. Но этот страх особый: страх от сознания бессмысленности бытия — в дурной бесконечности. Смерть, сознаваемая через веру, становится необходимостью: как переход от возможной дурной бесконечности времени к вечности. Существованию Гурова и Анны Сергеевны грозит именно дурная бесконечность незавершённости. Равнодушие же природы, которое ощущает Гуров, становится именно залогом спасения от дурной бесконечности земного бессмертия. Следственно: всё как бы ненамеренно и невольно побуждает движение ищущего сознания к вопросу: с чем человек придёт к этой избавительной смерти?

Признание необходимости смерти определено в мировоззрении Чехова— совершенным отсутствием у него эсхатологических переживаний, апокалиптических предчувствий. В конце 1902 года он пишет Дягилеву, что работа во имя будущего «будет продолжаться быть может, ещё десятки тысяч лет». И смерть поэтому-то признаётся им необходимой, ибо он ощущает эти «десятки тысяч лет» как всё же дурную бесконечность их долгой череды. Подсознательно ощущает. Тут своего рода «эсхатология» Чехова, вернее: подмена её особым переживанием смысла смерти. Тут как бы совмещение: круг нескончаемого времени — и «эсхатологический» для каждого конкретного существования выход из круга. Круг времени — необходим для совершенствования бытия, но безвыходное пребывание в этом круге становится для человека адом. «Дама с собачкой» перенасыщена ощущением этого.

Характер проблем, как видим, обретает сугубо религиозный характер. Ибо и вообще все вопрошания о смысле жизни (и смерти, неотделимой от жизни) вне религиозного поиска абсолютно абсурдны.

Автор восходит, таким образом, и увлекает читателя в осмыслении бессмертия на новый уровень.